



Дина Ильинична Рубина Я и ты под персиковыми облаками

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=154303
Наш китайский бизнес: Эксмо-пресс; М.: 2006
ISBN 5-699-10503-8*

Аннотация

На редкость талантливая и обаятельная рассказчица... Дина Рубина – мастер, поразительно умеющий видеть, слышать, вникать в окружающее. Успех повестей и романов Рубиной знаменателен и закономерен. В русской прозе сейчас побеждает артист...

Дина Рубина

Я и ты под персиковыми облаками

Это история одной любви, бесконечной любви, не требующей доказательств. И главное – любви неослабной, не тяготящейся однообразием дней, наоборот, стремящейся к тому, чтобы однообразие это длилось вечно.

Он – прототип одного из героев моего романа.

Собственно, он и есть герой моего романа, пожалуй, единственный, кому незачем было менять имя, характер и общественный статус, которого я перенесла из жизни целиком на страницы, не смущаясь и не извиняясь за свою авторскую бесцеремонность. В этом нет ни капли пренебрежения, я вообще очень серьезно к нему отношусь. Более серьезно, чем ко многим людям. Потому что он – личность, как принято говорить в таких случаях.

Да, он – собака. Небольшой мохнатый песик породы «тибетский терьер», как уверяет наш ветеринар Эдик.

Почему-то я всегда с гордостью подчеркиваю его породу, о которой, в сущности, ничего не знаю, да и

знать не желаю: наш семейный демократизм равно широко простирается по всем направлениям. На нацию нам плевать, были бы душевные качества подходящие.

Попал он к нам случайно, по недоразумению, как это всегда бывает в случаях особо судьбоносных.

В то время мы жили в небольшом поселении в окрестностях Иерусалима, в центре арабского города Рамалла, в асбестовом вагоне на сваях, посреди Самарии. Весна в том году после необычно снежной зимы никак не могла набрать силу, дули змеиные ветры, особенно ледяные над нашей голой горой.

Щенка притащила соседская девочка, привезла из Иерусалима за пазухой. В семье ее учительницы ощенилась сука, и моя шестилетняя дочь заочно, не спрашивая у взрослых разрешения, выклянчила «такусенького щеночка». В автобусе он скулил, дрожал от страха, не зная, что едет прямехонько в родную семью. Родная семья поначалу тоже не пришла в восторг от пополнения.

Мы втроем стояли у нашего вагончика, на жалящем ветру, дочь-самовольница скулила, и в тон ей из-за отворотов куртки соседской девочки поскуливало что-то копошащееся – непрошенный и ненужный подарок.

Я велела дочери проваливать вместе со своим незаконным приобретением и пристраивать его куда

хочет и сможет.

Тогда соседка вытащила наконец этого типа из-за пазухи.

И я пропала.

Щенок смотрел на меня из-под черного лохматого уха бешеным глазом казачьего есаула. Я вдруг ощутила хрупкую, но отчаянную власть над собой этого дрожащего на ветру одинокого существа. Взяла его на ладонь, он куснул меня за палец, отстаивая независимость позиции, придержал ухваченное в зубах, как бы раздумывая – что делать с этим добром, к чему приспособить... и сразу же принялся деятельно зализывать – «да, я строг, как видишь, но сердцем мягок»...

– Его называли Конрад... – пояснила девочка.

– Ну, мы по-ихнему не приучены, – сказала я. – Мы по-простому: Кондрат. Кондрашка.

Недели через две, когда все мы уже успели вусмерть в него влюбиться, он тяжело заболел. Лежал, маленький и горячий, уронив голову на лапы, исхудал, совсем сошел на нет, остались только хвост и лохматая башка... Ева плакала... Да и мы – были минуты – совсем теряли надежду. Завернув в одеяло, мы возили его на автобусе в Иерусалим, к ветеринару. Тот ставил ему капельницу, и, покорно лежа на боку, щенок смотрел мимо меня сухим взглядом, каким смотрят вдаль в степи или в пустыне.

Но судьба есть судьба: он выздоровел. Принялся жрать все подряд с чудовищным аппетитом и месяца за два превратился в небольшую мохнатую свинью, дерущуюся со всеми домашними.

Стоял жаркий май, днем палило солнце, к вечеру трава вокруг закипала невидимой хоральной жизнью – что-то тренькало, звенело, шипело, жужжало, зудело, и все это страшно интриговало Кондрата.

Под сваями соседнего каравана жил какой-то полевой зверек невыясненного вида (у нас он назывался Суслик, и не исключено, что таковым и являлся). Это было хладнокровное и мудрое существо, которое каким-то образом сумело наладить со взбалмошным щенком приличные, хотя и не теплые отношения. Во всяком случае, Кондрат не стремился загрызть своего подсвайного соседа. Однако постоянно пытался «повысить профиль» и поднять свой статус. Для этой цели время от времени он притаскивал к норе пожилого и сдержанного Суслика что-нибудь из домашнего обихода – старую Димкину майку или мочалку, завалившуюся за шкафчик и добытую им с поистине человеческим тщанием, – выкладывал на землю и вызывающе лаял: «А ну, выдь, жидовская морда, глянь, – ты эдакое видывал?!» Вообще, с детства обнаружил уникальную, поистине мушкетерскую хвастливость.

Когда, украдкой сцапав упавшую на пол тряпочку

для мытья посуды, Кондрат мчался под сваи соседнего каравана, Димка говорил: «Опять хлестаться перед Сусликом пошел».

Целыми днями он гонял кругами вокруг нашего асбестового жилища, молниеносно бросаясь в траву, отскакивая, рыча от восторга, поминутно пропадая из поля зрения, и тогда над холмами Самарии неслись, пугая пастухов-арабов, наши призывные вопли...

Так что детство его прошло на воле, среди долин и холмов, а дымы бедуинских костров из собачьей души, как ни старайся, не выветришь.

Но скоро мы променяли цыганскую жизнь в кибитке на мещанский удел: купили обычную квартиру в городке под Иерусалимом. Судьба вознесла нашего пса на немыслимую высоту – последний этаж, да и дом на самой вершине перевала. Войдя в пустую квартиру, первым делом мы поставили стул к огромному – во всю стену – венецианскому окну. Кондрат немедленно вскочил на него, встал на задние лапы, передними оперся о подоконник и залаял от ужаса – с такой точки обзора он землю еще не видел.

С тех пор прошло восемь лет. Стул этот и сейчас называется «капитанским мостиком», а сам Капитан Конрад проводит на нем изрядно свободного времени, бранясь на пробегающих по своим делам собак и сторожа приближение автобуса, в котором едет кто-то

из домашних. Как матрос Колумбова корабля, он вглядывается вдаль, на Масличную гору, поросшую старым Гефсиманским садом, а завидя кого-то из близких, принимается бешено молотить хвостом, как сигнальщик – флажками, словно открыл, наконец, открыл свою Америку!

Наверное, мне надо его описать. Ничего особенного этот пес из себя не представляет. Такой себе шерстистый господинчик некрупной комплекции, скорее, белый, с черными свисающими ушами, аккуратно разделенными белым пробором, что делает его похожим на степенного приказчика большого магазина дамского белья. На спине тоже есть несколько больших черных пятен, хвост белый, энергичный, ответственный за все движения души. Закинут на спину полукольцом и наготове для самых непредвиденных нужд, как солдатская скатка. Вот, собственно, и весь Кондрат. Не Бог весть что, но длинная взъерошенная морда и черные глаза, саркастически глядящие сквозь лохмы казацкого чуба, изумительно человекоподобны.

Зимами он лохмат и неприбран, как художник-абстракционист, поскольку не допускает всяких дамских глупостей, вроде расчесывания шерсти. С наступлением жары – кардинально меняет облик. Я сама стригу его со страшным риском поспориться навек. Он огрызается, рвется убежать, вертится, пытаюсь цап-

нуть меня за руку для острастки. Я с ножницами прыгаю вокруг него, как пикадор вокруг разъяренного быка, отхватывая то тут, то там спутанный клок. После окончания экзекуции он превращается в совсем уж несерьезную собачонку с лохматой головой и юрким нежно-шелковистым тельцем. Не жених, нет. Даже и описать невозможно – кто это такой. Однако опасность подцепить клеща резко снижается. Да и жара не так допекает. А красота – она ведь дело наживное...

Тем более что главное, оно известно, – красота души.

Восемь лет я наблюдаю эту независимую и склочную натуру и – не скрою – в иные моменты судьбы очень бы хотела позаимствовать кое-что из характера моего пса.

Во-первых, он неподкупен. Чужого ему не надо, а свое не отдаст никому.

Наш Кондрат вообще – мужичок имущественный. Любит, чтоб под его мохнатым боком «имелась вещь» – старый носок, ношенный Евин свитер, нуждающийся в стирке, или кухонный фартук, который я уже несколько месяцев считала запропастившимся, а он вон где – у Кондрата под брюхом. Сторож своему хозяйству он лютый. Не только забрать, а и мимо пройти не советую. Из самых глубин собачьего естества вы вдруг слышите тихий опасный рокот, похожий на сла-

бое урчание грозы или хриплый гул далекой конницы. Впрочем, полное отсутствие врагов, покусителей, да просто – зрителей его расхолаживает. И если у него настроение сразиться с кем-нибудь и показать неважно кому кузькину мать, он прихватывает зубами что-то из своего хозяйства, заявляется с угрожающим видом туда, где вы сидите, ни о чем не подозревая и мирно попивая чай или что-там-еще (так, пружиня на носках сапожек и зыркая по сторонам, ковбой заходит в незнакомый паб), и выкладывает добычу прямо вам под ноги. Морда при этом уже разбойничья и провокационная: «А ну, давай, сунься!»

И правда, если вам придет в голову подразнить его – например, сделать вид, что протягиваете руку за его кровным, трудом и потом нажитым имуществом, – ох, какой шквал проклятий, угроз, бандитских наскоков... При этом хвост его молотит бешеную жигу, глаза горят, мохнатое мускулистое тельце извивается, грудью припадая к полу, пружинно вздымается зад. И так до изнеможения, до радостно оскаленной, рывками дышащей пасти, застывшего хохота на мохнатой физиономии... Он счастлив, – боевой конь, тигр, бешеный арап, зверюга проклятая, – все это, как вы понимаете, доводят до его сведения потом, когда, распростершись мохнатым ковриком, он бессильно валяется под стулом. И это поистине блаженные минуты нашего се-

мейного счастья...

Однако нельзя сказать, что Кондрат счастлив в личной жизни. Как-то так получилось, что он холост. Мы поначалу истово искали ему возлюбленную, давали брачные объявления... все тщетно. Потом уж вроде подбирались какие-то партии, не скажу что выгодные или достойные по положению в обществе, – так, мезальянс все-таки.

У него, впрочем, есть некий заменитель супружеских отношений. Я даже не знаю, как это поделикатней сказать: это два больших домашних тапочка, сделанных в виде плюшевых зайцев, с розовыми пошлыми мордами и белыми ушами.

Как праотец наш Авраам, Кондрат имеет двух жен... Интересно строятся эти отношения – как в гареме, у султана с наложницами: когда на него находит интимное настроение, весь пыл души и чресел он посвящает только одной из своих плюшевых гурий, не обращая внимания на происходящее вокруг. При этом – раскован, упоен, влюблен, бесстыден, как восточный сатрап...

Удовлетворив любовный жар, он разом из галантного поэта-воздыхателя превращается в полную противоположность: в такого слободского хулигана, который, сильно выпив, возвращается домой из кабака. Что нужно такому мужику? Поучить жену, конечно.

Крепко поучить ее, дуру. И вот Кондрат хватает одну из своих возлюбленных зубами за заячьи уши и начинает нещадно трепать, совсем уж впадая в пьяный раж, подвывая и ухая, так что от барышни лишь клочки летят по закоулочкам.

Мы пытаемся урезонить его разными осуждающими возгласами, вроде: «Сударь, вы почто дамочку обижаете?»

Иногда приходится даже отнимать у него несчастную, вот как соседи отбивают у слободского хулигана его воющую простоволосую бабу...

Но бывают и у него высокие минуты блаженного семейного покоя. И, точно как султан в гареме возлежит на подушках, покуривая кальян и глядя на своих танцующих наложниц, — а вокруг возлежат жены, старшие, младшие и промежуточные... так же и Кондрат — подгребет к себе обеих, положит свою продувную морду между ними на какой-нибудь украденный им носок и тихо дремлет, бестия... Хотела бы я в эти минуты заглянуть в его мечты...

Утро начинается с того, что, учуяв вялое пробуждение мизинца на вашей левой ноге, некто лохматый и нахрапистый вспрыгивает на постель и доброжелательно но твердо утверждает передними лапами в вашу грудь. Вы, конечно, вольны зажмурить глаза, не дышать, не двигаться, словом, прибегнуть ко всем

этим дешевым трюкам – все напрасно: пробил час, а именно – шесть склянок, – когда спать дальше вам просто не позволят – будут лезть мокрым носом в ваше лицо, старательно его облизывая и норовя целовать – тьфу! – прямо в губы.

Можно еще потянуть время, умиротворяя этого типа почесыванием брюха, – он разваливается рядом, милостиво подставляя телеса для ласк, но как только ваша засыпающая рука вяло откинется, требовательной лапой он призовет вас к порядку. Так что дешевле уж не тянуть, а сразу выйти на прогулку.

И вы поднимаетесь и лезете в джинсы, путаясь в штанинах, с трудом разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем более что один кроссовок (одну кроссовку?) этот негодяй куда-то уволок и яростно треплет, рыча и скалясь в экстазе.

А на улице вообще-то дождь, туман, хмарь и мразь. Ваш ржавый позвоночник отказывается держать спину, ноги деревянные, руки ватные, глаза не открываются. Вы и так старый больной человек, а эта собачья сволочь еще цинично насмехается, продлевая удовольствие ожидания прогулки. Скачет по комнатам с одной из двух своих меховых блядей в зубах и азартно ее мутузит. Уже стоя перед дверью в куртке, вы призывно позвякиваете ошейником и поводком.

– Так ты не идешь гулять, сволочь собачья, паскуд-

ник, проходимец, холера лохматая!? Вот я сама ухажу, все, до свиданья, я пошла!

Этот трюк безотказен. При щелчке проворачиваемого в замке ключа мой пес немедленно бросает возлюбленную валяться где попало и мчится ко мне – подставлять шею под ненавистный ошейник.

Он сволакивает меня с четвертого этажа, и вот уже мы несемся над обрывом, он – хрипя и натягивая поводок, я – поминая страшную казнь колесованием, – несемся вдоль каких-то кустов и гнущихся под ветром сосен, мимо смотровой площадки, домов, заборов... Мчатся тучи, вьются тучи, дождь припускает уже в полную свою волю, и я ругаюсь вслух и вслух же – благо никого вокруг нет – спрашиваю себя – за что мне это ежеутреннее наказание?

Есть у него постыдная страсть – обожает носки, желательно «второй свежести». Отплясывая вокруг вернувшегося домой отца семейства, ждет, подстерегает это усталое движение скатывания, стаскивания с ноги носка. Вот оно, охотничье мгновение: хищный бросок! перехват жертвы! С носком в зубах он скрывается под стулом или столом. Начинаются долгие и сложные отношения с добычей. С полчаса, держа между лапами трофей, он молча зловеще выглядывает из-под казачьего чуба. Внимания требует, ревности, зависти, попыток напасть и ограбить. Иногда мы не реагируем на

его рокошующие провокации, но чаще – уж больно забавен, бандитка лохматый, – вступаем в навязанные им отношения. И тогда-то он показывает всем кузькину мать! Вот тогда он – имущественник, защитник добычи, корсар, батька атаман!

Хвост при этом ходит ходуном. Он жаждет сразиться.

Тут мы придумываем разные мизансцены. Димка вкрадчиво тянет руку к скомканной добыче... Боря говорит: «Красавчик, угостите носочком!»

На эти наглые притязания он отвечает яростным и даже истеричным отпором.

Но чаще, чем игры, он требует любви. Немедленного ее подтверждения. Ласкательные клички, которыми я его называю, зависят от его поведения в тот момент и от моего настроения. Все превосходные степени пущены в ход: собачка моя первостатейная, моя высоконравственная животица, мой грандиозный пес, невероятная моя псина, легендарный маршал Кондрашук, приснопамятный собачий гражданин, присяжный поверенный Кондратенков... и т. д.

Когда я заговариваю с ним, он склоняет голову набок, наставляет уши и прислушивается – что там она несет, эта женщина, есть ли хоть ничтожная польза в ее ахинее? Разумеется, он понимает все – интонации, намерения, много разнообразных слов. Сидя в моих

объятиях, умеет выждать паузу в потоке нежностей и поощрительно лизнуть меня точно в нос, – «продолжай, я слушаю». Когда надоедает сюсюкать, разевает пасть и бесцеремонно, с подвизгиванием, зевает: «Ну, будет тебе чепуху молоть!»

Ко многим словам относится подозрительно.

Взять, например, богатое слово «собака». Известно, что это такое. Это он сам в разные минуты жизни – теплые, родственные, счастливые и нежные, например: «Собака, я преклоняюсь перед вашим умом!», или «Позвольте же по-человечески обнять вас, собака!», или в драматические моменты выяснения отношений: «Ты зачем это сделал, собака подлючая, а?!»

Но у в общем-то родного слова «собака» есть еще другой, отчужденный смысл – когда им определяют других. Например: «Нет, туда мы не пойдем, ты же знаешь, там гуляют большие собаки».

Вообще, мне интересно – как он разбирается со всем многообразием своих имен, которых у него много, как у египетского божества. С другой стороны, и у меня две клички – мама и Дина.

И на обе я отзываюсь.

Но есть слова, исполненные могучего, сакрального смысла, понятия, у которых масса оттенков: «гулять» и «кушать».

Узнает он их еще до произнесения, угадывает по

выражению лица, что вот сейчас... вот-вот... Хвост ликует, трепещет, бьется...

— Ну что? — строго спрашиваю я, делая вид, что сержусь и ругать сейчас стану нещадно, что ни о какой прогулке и речи быть не может. Но его не обманешь. Страстно, напряженно он уставится на губы, окаменел, ждет... А хвост неистовствует.

— Что ж, ты небось думаешь, подлец, бесстыжая твоя рожа, что вот я сейчас все брошу... — грозно выкатив глаза, рычу я, но хвост бьется, бьется, глаза горят, — и выйду с тобой... ГУ?!... ГУ?!... (чудовищное напряжение, нос трепещет) Гу-у-у!?... (хвост — пропеллер) ГУ-ЛЯ-А-АТЬ!?

Ох, какой прыжок, какое пружинное глубинное ликование, с каким бешеным восторгом он хватает любую подвернувшуюся вещь — чей-то тапочек, туфель, носок — и мчится по квартире с напором, достойным мустанга в прерии.

Когда неподалеку какая-нибудь сучка начинает течь, Кондрат безумеет, рвется прочь, пытается расшибить дверь, стонет, коварно затаившись, ждет у дверей, валяясь якобы без всяких намерений... Но стоит входящему или выходящему зазеваться в дверях, пес, угрем обвивая ноги, прыскает вниз по лестнице и — ищи свищи героя-любownika! Можно, конечно, броситься за ним, взывая к его совести и чести.

Можно даже исторгнуть из груди сдавленный вопль – он, пожалуй, притормозит на лестничной площадке, оглянется на тебя с отчужденным видом, морда при этом имеет выражение: «С каких это пор мы с вами на „ты“?»... и бросится неумолимо прочь. Бежит по следу благоуханной суки с одержимостью безумного корсара.

Возвращается, в зависимости от накала страсти, – через час или два. Но несколько раз пропадал часа на три-четыре, ввергая всю семью в панику...

Возвращается так же молча крадучись, так же извиваясь всем телом, но с совершенно другим выражением на морде: «Виноват, виноват! Вот такой я гад, что поделаешь!»

Одного мы его гулять не отпускаем. Во-первых, все время приходится помнить о злодее с машиной, ловце собачьих душ, во-вторых, Кондрату, с его поистине собачьим характером, недолго и в тюрьму угодить. Бывали случаи. Например, пес моего приятеля, Шони, настоящий рецидивист, – трижды сидел, и все за дело.

Помнится, впервые о псах-зеках я услышала от писательницы Миры Блинковой. Узнав, что мы обзавелись четвероногим ребенком, Мира сказала:

– У нас тоже много лет была собака, пойнтер, – милый, ласковый пес... Все понимал. Буквально: пони-

мал человеческую речь, малейшие ее оттенки, сложнейшие интонации. Однажды, когда у нас сидели гости, я кому-то из них сказала, даже не глядя на собаку: «Наш Рики – чудесный, деликатнейший пес...» – он подошел и поцеловал мне руку... Потом его посадили – по ложному доносу... Но поскольку у Нины были связи, она добилась свиданий и передач. За хорошее поведение его выпустили на волю досрочно... Что вы так странно смотрите на меня?...

– Простите, Мира, – осторожно подбирая слова, проговорила я. – Очевидно, я задумалась и потеряла нить разговора. О ком это вы рассказывали, кого посадили?

– Рики, нашего кобелька.

С моей стороны последовала долгая напряженная пауза.

– Ах, да, вы еще не знаете, – сказала моя собеседница спокойно, – что Израиль отличается от прочих стран двумя институциями – кибуцами и собачьими тюрьмами...

– Вы шутите! – воскликнула я.

– Да, да, любая сволочь может засадить в тюрьму абсолютно порядочного пса. Достаточно написать заявление в полицию. В случае с нашим Рики: Нина возвращалась с ним с прогулки, и в лифт вошел сосед, какой-то говеный менеджер говеной страховой компа-

нии. Рики, в знак дружеского расположения, поднялся на задние лапы, а передние положил тому на плечи и облизал его физиономию. Так этот болван от страха чуть в штаны не наделал. В результате – донос на честного, милого, интеллигентного пса, и приговор – тюремная решетка.

– Но ведь это произвол!

– Конечно, – горько подтвердила Мира, – а разве вы еще не поняли, что приехали в страну, где царит страшный и повсеместный произвол?

Я представила себе этот разговор на эту конкретно тему где-нибудь на московской кухне в советское время, годах эдак... да в каких угодно годах, даже и в недавних.

Когда Кондрат хочет гулять или есть – то есть обу-реваем какой-нибудь страшной надобностью, – он на-храпист, бесстыден, прямолинеен и дышит бурно, как герой-любовник. В народе про таких говорят: «Ну, этот завсегда своего добьется!»

При этом он дьявольски умен, хитер, как отец-инквизитор, и наблюдателен. Если б он мог говорить, я убеждена, что лучшего собеседника мне не найти. К тому же он обладает немалым житейским опытом. Например, знает, что если с самого утра я ни с того ни с сего становлюсь мыть посуду, это верный признак, что бабушка – бабуля! – уже выехала откуда-то оттуда,

где таинственно обитает, когда исчезает из нашего дома. Это значит, что пора вспрыгивать на капитанский мостик и ждать, когда автобус завернет на нашу улицу. И он стоит на задних лапах, передними опершись о подоконник, и – ждет. И вот его хвост оживает, вначале приветливо помахивает, но по мере приближения бабули к подъезду увеличивает обороты. Несколько секунд он еще стоит, весь дрожа от радостного напряжения, дожидаясь, когда его главная приятельница подойдет к парадному у, вот она скрылась из виду... тогда он валится со стула боком – так пловцы уходят с вышки в воду, – мчится к двери и с размаху колотится в нее лапами, всем телом, оглушительно причитая и пристанывая: «Ну! Ну! Ну же!!! Сколько можно ждать!!! Она поднимается, поднимается, вот ее шаги!!! Открывайте же, гады, убийцы, тюремщики!!!»

Вы скажете – нетрудно любить человека, который всегда принесет то котлетку, то кусок вчерашнего пирога, а то и куриную ножку. Да не в этом же дело, уверяю вас! И эти стоны преданной любви, и плач, и чуткое вскакивание на стул при шуме подъезжающего автобуса... не из-за куриной же ноги. Нет, нет. Нет. А что же? – спросите вы. И я отвечу: душевная приязнь. Иначе как объяснить ошалелые прыжки Кондрата и визг при редких появлениях нашего друга Мишки Моргенштерна? Уж Мишка-то никаких котлет не приносит,

Мишка наоборот – сам отнимет у собаки последнюю котлету под рюмочку спиртного. Но Мишка стоял у колыбели этого наглого пса, трепал его по загривку, целовал прямо в морду, а такие минуты не забываются. И вновь скажу я вам – душевная приязнь, вот что это, и четкое различие людей на аристократов духа, то есть собачников, и прочую шушеру. А Мишка-то, Моргенштерн, он самый что ни на есть аристократ духа. За ним по всей его жизни трусили стаи собак. У него и сейчас живут три пса – Маня, Бяка и Арчик. Представляю, что чувствует Кондрат, втягивая своим трепещущим кожаным носом сладостные флюиды запахов, исходящих от Мишкиной одежды, рук, бороды и усов...

В экстремальные моменты семейной жизни он куда-то деваается, прячется, тушует. Я в этом усматриваю особую собачью деликатность. Взять недавнюю воробьиную ночь. Часу во втором Боря наведалься в туалет и, когда собирался выйти, обнаружил, что замок сломан. Сначала тихонько пытался что-то там крутить, боясь разбудить всю семью. Я проснулась от назойливого звука все время проворачивающегося ключа, как будто кто-то пытался лезть в квартиру. Потом поняла, вскочила, и мы – шепотом переговариваясь по обе стороны двери – пытались столовым ножом отжать заклинившуюся «собачку» замка. Просну-

лись дети. Сначала вышла из своей комнаты хмурая, заспанная Ева в пижаме, сказала: «Да чего там церемониться! Папа, заберись с ногами на унитаз, я выбью дверь.»

Мы все-таки склонялись к мирному решению вопроса. Потом проснулся Димка и, как всегда, деятельно стал мешать. Мы втроем – я и дети – толпились в коридоре, папа страдал запертый. Кондрата вроде как не было видно... Наконец минут через двадцать замок был побежден, «собачка» выпала под нажимом напильника, и отец был освобожден из туалетного плена.

И вот, когда уже все улеглись, на нашу кровать вдруг вспрыгнул Кондрат и с непередаваемым радостным пылом, с каким обычно он встречает нас после отъезда, бросился целовать Борю. Нежность, счастье и восторг никак не давали ему успокоиться... Очевидно, он понял, что Боря попал в какую-то передрягу, если вся семья крутилась возле двери, за которой томился хозяин. Но вот наконец кончилось заточение, и он приветствует освобожденного даже более пылко, чем если б тот откуда-нибудь приехал.

Так встречают отца, отбывшего тюремный срок.

В его, по сути, героическом характере имеется некая постыдная прореха. Неловко говорить, но придется. Я имею в виду его мистический страх перед са-

лютом. Да-да, праздничный салют – вот слабое место в душе бесстрашного пса.

Это стыдно. Ой, как стыдно – бояться этих взрывающихся в небе разноцветных фонтанов и брызг, этих искр по всему небу... Но он ничего с собой поделатъ не может. Так бывает, – у очень храброго человека, например, бывает патологическая боязнь высоты.

Он дрожит всем телом и нигде не находит себе места. При очередном раскатистом взрыве он вздрагивает, прижимает уши и жалко трусит, поджав хвост, из одной комнаты в другую... Забивается в туалет... Да и для нас – какая уж там радость и веселье, какое там ликование, когда любимое существо абсолютно, как говорят китайцы, теряет лицо, трепещет, мечется в безумии по квартире, то запрыгивая в ванну, то залезая под кресла... Сердце разрывается от жалости... Я хватаю его на руки. Обнимаю, прижимаю к себе, глажу, бормочу ласково: «Ну что ты, милый, это только салют, это ничего, ничего...» – он в отчаянии вырывается, продолжая трястись мелкой дрожью, мечется по дому и ищет пятый угол.

(Я упоминаю о его слабостях отнюдь не для того, чтобы опорочить одно из самых бескорыстных и благородных существ, когда-либо встретившихся на моем пути, но если уж говорить, то говорить начистоту. Справедливость алчет правды.)

Еще одно занятие, чрезвычайно ответственное, — копать. Раскапывать передними лапами: одеяло, брошенный на кресло свитер, любую тряпку вообще, а если ее нет, то яростно раскапывается пол. При этом передние лапы двигаются как ноги танцующего чарльстон. Закончив разгребать таким образом умозрительную яму в полу, он начинает медленно и задумчиво вращаться вокруг собственного хвоста, пока не укладывается на «раскопанное» место.

Стоит ли говорить, что в его табели о рангах всяк домашний стоит на своем, только ему принадлежащем, месте. Но и свои особые отношения у Кондрата с гостями, которых он, кажется, подразделяет на виды, семейства, группы и подгруппы. К тому же он явно делит свою жизнь на служебную и частную. Когда, первостатейно обложив оглушительным лаем очередного гостя, то есть проявив положенное представительство, он смиряется с временным присутствием в доме чужого, он как бы снимает мундир, расслабляет галстук и облачается в домашнюю куртку. Тем более что гости перешли в кухню и сидят за столом, над которым, как водоросли, колышутся густые запахи мяса, колбас, салатов и, кстати, квашеной капусты, которой Кондрат тоже не прочь отдать дань уважения.

Тут он ведет себя в точности как хитрый ребен-

нок, отлично понимающий, что послабления следует ждать совсем не от родителей, а от душки-гостя.

Тактика проста. Вначале он садится у ног приступившего к трапезе голодного гостя и минуты три вообще не дает о себе знать. Этюд под условным названием «А я тут по делу пробежал, дай, думаю, взгляну – что дают...». Когда гость заморил самого назойливого первого червячка и расселся поудобнее, Кондрат приподнимается, присаживается поближе, складывает физиономию в умильно-скромное любование и, склонив набок башку, несколько минут сидит довольно кротко с выражением скорее приглашающим – «Угостите собачку», – чем требовательным.

Если гость не дурак и слабину не дает, Кондрат, сидя на заднице, протягивает лапу и треплет гостя по коленке – дай, мол, дядя, не жадись... Как правило, этот пугающе человеческий жест приводит гостя в смятение.

– Чего тебе, песик? – спрашивает он, опасливо косясь на Кондрата, настойчиво глядящего прямо в глаза нахалу, так вольно сидящему за семейным столом. – Дать ему кусочек? – неуверенно спрашивает меня гость.

– Ни в коем случае! – говорю я. – Кондрат! А ну, отвали! Щас получишь раз! Немедленно отстань от Саши (Иры, Маши, Игоря)!

Несколько секунд Кондрат молча переживает, прожоя тяжёлым взглядом каждый кусок, который гость отправляет в рот. На морде выражение сардоническое и высокомерное, что-то вроде: «А харя твоя не треснет?». Потом, словно нехотя, поднимается опять на задние лапы и на этот раз уже дотягивается передней лапой до руки с вилкой. И требовательно треплет эту руку. На этот раз подтекст: «Не зарывайся, дядя! Не кусочничай. Угости честную собаку».

Тут его пора нещадно гнать в три шеи, пока не наступил следующий этап: хамское короткое взлаивание абсолютно нецензурного содержания.

Если же и этот этап упущен, остается только одно: накормить его до отвалу, к чертовой матери.

За ночь он, как отъявленный ловелас, успевает поваляться на всех постелях в доме. Начинает с Евы. Она ложится раньше всех, потому как уходит раньше всех в школу. Зайдешь к ней в комнату перед сном — Кондрат сонно поднимает голову с ее кровати: ну, чего ты беспокоишься, я же здесь. Как только я укладываюсь под одеяло, он вскакивает ко мне на постель и скромно примащивается в ногах, якобы, — я тут с краю, незаметно. Я вас не обременю.

Уже часа через полтора я просыпаюсь от храпа где-то около моего плеча. Точно: Кондрат покинул свое кухаркино место и развалился рядом, прямо в барской

опочивальне, лохматая башка на подушке, рядом с моей, и храпит, как намаявшийся за день грузчик. Когда я его спихиваю, он огрызается и, ворча, перебирается к Борису. Но тот спит беспокойно, ворочается, просыпается то и дело, встает пить и вообще – пассажир беспокойный. Тогда раздраженный, невыспавшийся Кондрат бежит к Димке. Это его последнее рассветное прибежище. Во-первых, Димка спит как убитый, на нем можно топтаться, плясать, храпеть ему в оба уха, бесцеремонно спихивать с места. Во-вторых, у него широченная тахта.

Утром можно видеть такую картину: раскинувшись в одинаковых позах, эти двое дрыхнут, как пожарники, всю ночь таскавшие ведра с водой.

Вообще, поразительны его позы, в которых он копирует хозяев. В жестах, привычках и манерах очеловечился до безобразия. Например, полулежит на диване в совершенно человеческой позе, опершись спиной на подушки, передние лапы расслабленно покоятся на брюхе и, кажется, будь на них пальцы, он бы ими почесывал поросшую нежной белой шерстью грудку. Если б мне впервые показали такого где-нибудь в чужом доме, я бы испугалась. Мне и сейчас иногда становится не по себе, когда мы с ним одни в квартире и он вдруг подходит к рабочему моему креслу, где я сижу за компьютером, и, приподнявшись на задних ла-

пах, кладет переднюю мне на колено.

— Что, старичок?.. — рассеянно спрашиваю я, не отрывая взгляда от экрана, зная, что он накормлен и нагулян, то есть не одержим в данный момент никакой срочной нуждой.

Он молчит, не снимая лапы с моего колена. Я не глядя опускаю руку и треплю его по лохматой мягкой башке, глажу, бормочу что-то нежное.

Наконец, оборачиваюсь.

Он смотрит на меня ожидающим, внимательным, абсолютно человеческим взглядом. Сейчас что-то скажет, неотвратимо понимаю я, заглядывая в эти пронизательные глаза. И в тот момент, когда холодок продирает меня по коже, он вдруг отводит взгляд и уютным, тоже — человеческим, движением мягко кладет мне голову на колено... Ему ничего не нужно. Он пришел напомнить о своей любви и потребовать подтверждения моей. И я подтверждаю: беру его, как ребенка, на колени, объясняю страстным шепотом, что он самый высоконравственный, ослепительный, мудрейший и качественно недосягаемый пес. И некоторое время он, как ребенок, сидит у меня на коленях, задумчиво глядя на наше с ним туманное отражение в экране компьютера.

У нас, конечно, и враги имеются. Например, черный дог в доме напротив. Этот гладкий молодчик полагает

себя властелином мира. Конечно, у него есть балкон, с высоты которого он обзрывает местность и делает вид, что контролирует ее. На самом деле никто, конечно, не наделял его такими полномочиями. Всем известно, кто хозяин данной территории. Кондрат, разумеется. Капитан Конрад, лохматая доблесть, ни у кого сомнений не вызывающая. И мы не позволим всяким там наглецам демонстрировать... то есть регулярно не позволяем часов с пяти утра, когда того выпускают на балкон – проветриться и он, возвышаясь над перилами, оглашает окрестности первым предупредительным угрожающим рыком.

Ну это уж дудки! Этого ему уж никто из порядочных особ спускать не намерен! Кондрат взрывается ответной утроенной яростью, – непонятно – откуда такая громогласность в этом небольшом, в сущности, субъекте... Повторяю – в пять утра.

– Кондрат! – Я шлю ему вдогонку сонный вопль, исполненный отчаяния.

– Нас выселят, – бормочет Борис, просыпаясь, – в конце концов соседи позвонят в полицию, и будут правы.

Спящий в большой комнате Димка подбирает с пола тапок и, рискуя попасть в окно, швыряет в Кондрата.

Все тщетно. Разве станет отважный обращать вни-

мание на летящую в его сторону гранату? Он стоит на задних лапах на своем капитанском мостике, опершись о подоконник передними. Хвост – как бесено вертящийся штурвал. Дрожа от ненависти, воинственного возбуждения и невозможности сцепиться в честной рукопашной, противники со своих позиций поливают друг друга шквалом оглушительных оскорблений.

Отношения с остальными представителями собачьего рода немногим лучше. Все гордость, гордость проклятая. Врожденное высокомерие и нежелание подпустить к себе всяких там безродных на близкое расстояние. Если на прогулке к нему подбегает собачонка и приветливо петляет вокруг, обнюхивая его хвост, Кондрат встает как вкопанный, напряженно и холодно уставившись на заискивающую шушеру.

Никакой собачьей фамильярности, Боже упаси. Знаем мы этих шавок, мизераблей, побирушек, приживалов. Не наша это компания, не наше, что ни говорите, сословие.

Когда, отгуляв, мы завершаем круг, он садится и смотрит на Иерусалим.

Всегда в одном и том же месте – на площадке, куда обычно привозят туристов. Над этой странной его привычкой я размышляю восемь лет. Почему он с таким упрямым постоянством созерцает этот вид,

неужели из соображений эстетических? Именно в такие моменты сильнее всего мне хочется проникнуть в его мысли...

Сидит как вкопанный. Наслаждается. Иногда уже и мне надоест, потянешь его – ну, хватит, мол, Кондраша, идем домой... – он упрямо дернет башкой, не оборачиваясь. Упрется, сидит. Пока не насмотрится. Потом поднимается и трусит к подъезду, преисполненный достоинства.

Мой возлюбленный пес! Когда вот так мы стоим с тобой, в молчаливой задумчивости, на высоком гребне нашего перевала, под персиковыми облаками нового утра, – что видишь ты там, на холмах Иерусалима? Чем ты заморожен?

Что за собачий тебе интерес в этих колокольнях, и башнях, и куполах, в этих старых садах и дорогах? Или твоя преданность хозяйке достигает того высочайшего предела, когда возвышенные чувства сливаются в единой вибрации духа в тех горних краях, где нет уже ни эллина, ни иудея, ни пса, ни человека, а есть только сверкающая животная радость бытия, которую все Божьи твари – и я, и ты – чувствуют равно?

Нет такой преданности в человеческом мире.

Проклятая моя трусливая страсть заглядывать за толщу еще не прочитанных страниц уже нашептывает мне о том времени, когда тебя не будет рядом.

Возлюбленный мой пес, не оставляй меня, следуй за мной и дальше, дальше – за ту черту, где мы когда-нибудь снова с тобою будем любоваться на вечных холмах куполами и башнями другого уже, небесного Иерусалима...